

A full-page background image of a soldier in a gas mask and tactical gear standing in a post-apocalyptic city. The soldier is wearing a gas mask with orange lenses and a brown tactical suit with multiple pouches. The background shows a ruined city with a large building on the left and a power line tower on the right, under a cloudy sky.

Евгений Поздеев

Зов Зоны: Цена Смерти

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Евгений Поздеев

Зов Зоны: Цена Смерти

<https://litres.ru/73937668>

SelfPub; 2026

Аннотация

Зона зовёт его. Скар — сталкер-ветеран, прошедший Афган и Чечню. Он обещал умирающему другу найти «Сердце» — артефакт, созданный в секретной лаборатории под ЧАЭС. Тот, который запустил аномалии и мутантов. Теперь «Сердце» говорит с ним во сне голосом матери, которой у него никогда не было. Вместе с напарницей Чайкой Скар уходит в глубину Зоны. За ним охотятся сектанты «Монолита». Впереди — «карусель» страхов, исполняющая желания ценой смерти. И человек, который хочет уничтожить Зону вместе со всеми, кто в ней находится. Скар должен сделать выбор. Уничтожить «Сердце» — или стать его частью. Цена — его память. Или жизнь всех, кого он любит.

Евгений Поздеев

Зов Зоны: Цена Смерти

Пролог. Сон о железной реке

Тьма пришла не сразу. Сначала была вибрация. Скар лежал на боку, сжавшись в позу эмбриона — привычка, оставшаяся с детдома, когда спина к стене и ноги поджаты к животу означали, что никто не подойдёт сзади. Спящий всегда уязвим — эту истину он выучил ещё в Афгане, когда душманы по ночам подрезали часовых, и с тех пор так и не отучился держать уязвимые места прикрытыми. Даже в поезде. Даже в относительной безопасности. Даже когда Чайка спит на верхней полке и её ровное дыхание — единственное, что напоминает о мире за пределами его личного окопа.

Правое плечо затекло — пальцы онемели, в локте пульсировала тупая ноющая боль. Старый вывих, Афган, когда неудачно упал, уходя от пули. Тогда, в горах, адреналин был таким, что он не заметил, как вывернул руку. Заметил только через три часа, когда они уже вышли к своим, — рука висела плетью, и Савча сказал: «Ты дурак, Скар. Надо было сразу сказать». Скар ничего не ответил. Он вообще не привык жаловаться.

Под щекой — холодная, липкая поверхность полиэтилена, которым были обтянуты сиденья в плацкартном вагоне. Материал за годы десятков поездок истёрся, стал шершавым,

в мелких трещинах, которые при малейшем движении издавали тихий шелестящий звук — будто кто-то водил пальцем по сухой старой коже. От полиэтилена пахло — не резко, а фоновое, навязчиво — чем-то дешёвым, синтетическим, смешанным с запахом чужого пота и дешёвого табака. Этот запах въелся в поры материала за годы бесчисленных рейсов. Скар подумал машинально: на этом же месте, возможно, сидела какая-нибудь студентка, едущая домой на каникулы, — вязала бы крючком и слушала плеер. Или старый рабочий с мозолистыми руками, возвращающийся с вахты, доставал бы из авоськи солёные огурцы и сало. Теперь здесь лежал он. Человек, который за последние двадцать лет видел больше смертей, чем эти люди — живых рассветов.

Где-то под полом, на той стороне, где колёса, ровно гудел генератор — низко, монотонно, с микроскопическими сбоями в ритме, которые возникали каждые три-четыре оборота. Эти сбои были почти незаметны для обычного уха, привыкшего к шуму мегаполиса и телевизору по вечерам. Но Скар, привыкший в Зоне различать малейшие изменения в звуковом фоне — там, где ошибка в идентификации звука могла стоить жизни, — слышал их отчётливо. Как старый больной человек слышит шумы в собственном сердце. Стук колёс. Размеренный, усыпляющий, знакомый до тошноты. Он накатывал волнами — сначала громко, когда поезд шёл по стыкам, с резким металлическим лязгом, от которого закладывало уши, потом тише, когда колёса катились по ровно-

му цельному рельсу, и шум превращался в ровное убаюкивающее гудение. Ритм был неправильным, сбивчивым — старые довоенные пути не меняли уже лет тридцать, и они давно требовали замены. Никто не менял. Как и многое в этой стране.

Поезд. Киев — Москва. Или Москва — Киев. Скар уже сбился со счёта. Вторые сутки в дороге. За это время он успел пересечь границу дважды — не ту, которую охраняют пограничники с собаками и металлоискателями, а ту, которая проходит через души людей, оставляя за спиной одно, а впереди — другое. Там, за спиной, осталась Москва, больничная палата, где Пашка учился заново сжимать пальцы в кулак. Впереди — Зона. Серый горизонт, за которым пульсировало невидимое глазу свечение.

Он успел выпить три кружки переслащенного, отдающего металлом чая из поездного титана. Чай был чёрным, крепким, с запахом ржавчины и кипятка, который перестоял. Вкус — как воспоминание о дешёвой столовой, где кормят не для удовольствия, а для калорий. Съел две порции гречневой каши с подгоревшим мясом — мясо было жёстким, с прожилками, каша — рассыпчатой, но безвкусной, как будто её варили в той же воде, что и бельё. Один раз сходил в туалет, где из крана вместо воды шёл пар — горячий, влажный, обжигающий пальцы, когда пытаешься открыть ржавую защёлку.

Вторые сутки без настоящего сна — только короткие рва-

ные провалы в небытие, из которых он выныривал с колотящимся сердцем, холодным потом на висках и ощущением, что кто-то звал его по имени. Женский голос. Тёплый, ласковый, незнакомый — и в то же время такой родной, что хотелось плакать. Он знал этот голос. Не мог вспомнить, откуда, но знал. Голос был из другого сна — того, который снился ему в детстве, когда он лежал на жёсткой скрипучей койке, укрывшись тонким колючим одеялом, и смотрел в высокий тёмный потолок. Тогда голос говорил ему: «Не бойся, я рядом». Скар не знал, кому принадлежал голос. Никогда не знал. Но каждую ночь он ждал его. И каждую ночь голос возвращался. Сейчас голос звучал иначе. В нём появилось что-то тревожное, срочное — будто кто-то пытался дозвониться в последний раз, перед тем как связь оборвётся навсегда. Как будто кто-то стоял на краю обрыва и кричал в темноту, зная, что ответа не будет.

«Скар... Скар, просыпайся. Они идут. Ты должен...»

Он попытался открыть глаза — не смог. Веки были тяжёлыми, словно кто-то налил в них свинец. Или залил оксидной смолой, которая затвердела, намертво склеив ресницы. Сон пришёл не сразу. Сначала была просто темнота — глубокая, плотная, непроницаемая. Не та, которая бывает ночью в комнате, когда задёрнуты шторы и выключен свет, а другая — живая, дышащая, состоящая из мелких мерцающих точек, которые двигались, пульсировали, перетекали друг в друга, как кадры старой чёрно-белой киноплёнки, ко-

торуую крутят на замедленной скорости. Точки складывались в образы — смутные, рваные, как обрывки сна после резко-го пробуждения. Чьи-то лица. Чьи-то руки. Чья-то кровь на снегу.

Скар не мог пошевелиться. Тело стало чужим, тяжёлым, налитым свинцом — каждая мышца, каждая кость, каждая клетка ощущались отдельно, как часть огромного неподъёмного механизма, который давно требовал починки. Он чувствовал, как левая рука затекла от долгого лежания на боку — пальцы онемели, в локте пульсировала тупая ноющая боль. Чувствовал, как поясница упирается в край полки, и позвоночник отзывается глухой давящей тяжестью. Компрессионный перелом, Чечня, прыжок с брони подбитого БТРа. Тогда, в Грозном, их машина наехала на фугас. Скар успел выпрыгнуть, но приземлился на спину, на битый кирпич. Месяц в госпитале, потом — снова в строй. Ходить можно было, но поясница ныла каждую осень, каждую сырую погоду, каждую ночь в поезде. Чувствовал, как правая нога сама собой сжимается в стопу, подгибая пальцы — старая судорога, которой он болел ещё с детдома, когда спал на холодном полу. Тогда, в спальне на десять человек, батареи были едва тёплыми, и дети спали вповалку, сбившись в кучу, как щенки, чтобы согреться. Скар всегда оказывался с краю — его отодвигали. Спина к стене, ноги поджаты. И судорога. Всегда судорога.

«Вставай, Скар. Вставай, чёрт тебя дери. Не спать. Не

спать».

Он мысленно повторял это снова и снова, как мантру, как молитву, как приказ, который нельзя не выполнить. В Афгане он научился не спать по трое суток подряд — когда засада, когда обстрел, когда надо тащить раненого на себе двадцать километров по горам. Там, в горах, сон был смертью. Здесь, в вагоне, — тоже. Потому что во сне Зона была сильнее. Во сне она забирала его целиком, без остатка. Он попытался вспомнить, когда впервые увидел Зону. 2004 год. Ветреный холодный день. Колючая проволока, ржавая, с табличками «Опасно», «Не входить», «Смертельная зона». Таблички были прикручены проволокой к столбам, и ветер раскачивал их, они бились о металл с глухим тоскливым звоном. Он перелез через неё, как перелезал через многие заборы в своей жизни — в Афгане, в Чечне, в детдоме. Не спрашивая разрешения. Зная, что обратной дороги нет. Первый шаг в Зону. Воздух был другим — густым, маслянистым, пахнущим озоном и горелой проводкой. Детектор на поясе взвыл — коротко, требовательно, как скорая помощь, которая опаздывает. Скар тогда не знал, что детекторы врут. Что Зону нельзя измерить приборами. Её можно только чувствовать. Он почувствовал сразу. Как будто кто-то огромный и древний посмотрел на него из-под земли, из-под бетона, из-под времени. И сказал: «А, это ты. Я ждала». Скар тогда испугался. В первый и последний раз в Зоне. Испугался не мутантов, не аномалий, не людей. Испугался того, что Зона знала его.

Знала, кто он. Знала, зачем пришёл. Знала, что он вернётся.

«Вставай», — снова сказал внутренний голос. Теперь он звучал не изнутри, а откуда-то снаружи. Из темноты. Из пульсирующей точки в центре сна. Точка росла, разбухала, превращалась в свет.

Потом темнота начала светлеть. Не рассветом — рассвет бывает розовым, золотым, тёплым, с запахом утренней росы и криком петухов где-то вдалеке. Этот свет был другим. Белым. Слепящим. Холодным. Он исходил не из одного источника, а отовсюду сразу — из стен, из пола, из воздуха, из самого пространства, которое вдруг стало плотным, осязаемым, как кисель. Скар прищурился, поднял руку, закрывая лицо. Пальцы — грязные, с чёрной каймой под ногтями, с мозолями на подушечках от постоянного соприкосновения с холодным шершавым металлом автомата — стали почти прозрачными на этом свете, будто кто-то просветил их рентгеном насквозь, показав кости, сухожилия, старые не сросшиеся переломы. Он сжал кулак — костяшки хрустнули сухо, отрывисто, как сухие ветки под ногами в морозный день. Свет проходил сквозь него, и на мгновение Скару показалось, что он исчезает — превращается в тень, в силуэт, в воспоминание фо самом себе.

«Я исчезаю», — подумал он спокойно, без паники. Потому что паника — это роскошь, которую он не мог себе позволить с девятнадцати лет, когда впервые взял в руки автомат. — «Может, это и к лучшему».

Но свет не убил его. Свет звал.

Скар стоял на пороге. Сначала не понял, где находится, — только смутное тянущее ощущение «здесь уже был», которое не обманешь, не заглушишь, не вытравишь алкоголем или годами. Оно въедается в кожу, как загар, как шрам, как память о первой любви, которую ты никогда не видел, но почему-то помнишь. Потом узнал. Бетонная арка, сложенная из тяжёлых довоенных блоков. Блоки были старыми, ещё 1970-х годов, с выщербленными краями и глубокими продольными трещинами, из которых сочилась влага — холодная, липкая, пахнувшая сыростью и стоялой водой. Влага замерзала на морозе, превращаясь в тонкие ледяные сосульки, которые свисали с арки, как бахрома, как сосульки с крыши старого заброшенного дома. Блоки помнили то, чего не помнил никто из живых. Они помнили 1986 год. Помнили, как взорвался реактор — не сразу, а сначала серией глухих хлопков, от которых содрогнулась земля. Помнили, как учёные в панике бегали по коридорам, заклеивая окна свинцовыми листами и сжигая документы. Помнили, как через месяц после аварии в подвал спустилась группа в защитных костюмах — они несли с собой механизм, который должен был остановить катастрофу. Механизм, который стал «Сердцем».

Стены арки уходили вверх, теряясь в темноте. Скар задрал голову — и увидел, что потолка нет. Вообще нет. Только бесконечный, уходящий в никуда колодец, выложенный ржавыми оплетёнными проводами. Провода свисали вниз,

как мёртвые змеи, покрытые слоем чёрной маслянистой пыли, которая осыпалась при малейшем движении воздуха. На концах проводов вместо лампочек висели капли воды — тяжёлые, холодные, они росли, пульсировали, отрывались и падали вниз с глухим барабанным стуком. Кап. Кап. Кап.

Звук разнёсся по арке многократным эхом, ушёл в глубину, отразился от невидимых стен, вернулся обратно, усилился, превратился в шёпот. Множество голосов — мужских, женских, старых, молодых — они шептали что-то неразборчивое, сливаясь в единый низкий вибрирующий гул, от которого начинало нить в затылке и сосать под ложечкой. Скар знал этот звук. Так шепчет «карусель», когда готовится забрать тебя. Так шепчет Зона, когда хочет, чтобы ты остался.

Кап.

Скар перевёл дыхание. Вдохнул — воздух был холодным, сухим, пах озоном и горелой проводкой. Выдохнул — пар облачком вырвался изо рта, повисел секунду и растворился в свете, став частью этой белой слепящей пустоты. Сделал шаг вперёд. Пол под ногами был выложен бетонными плитами — идеально ровными, без единой трещины, без выбоин, без следов времени. Плиты были тёплыми — Скар чувствовал это даже через толстые прорезиненные подошвы берцев. Тепло поднималось снизу, из-под земли, из глубины, где кто-то огромный и древний спал и видел сны. Плиты были скользкими. Не от воды или льда — от того, что материал, из которого они были сделаны, не встречался в природе. Он

был гладким, как стекло, но не хрупким — при каждом шаге подошвы не скрежетали, а скользили, заставляя Скара напрягать мышцы ног, чтобы не упасть. Он шёл, широко расставляя ноги, перенося вес с пятки на носок, как учат ходить по льду — мелкими семенящими шажками, без резких движений.

Он знал это место. Не видел никогда, но знал. Знал каждой клеткой, каждым нервом, каждым старым застарелым шрамом, который Зона вживила в его тело за двадцать лет. Знал, как знают лицо матери, которую никогда не видели, — по запаху, по голосу, по тому, как бьётся сердце, когда думаешь о ней. «Странно», — подумал он. — «Я не помню её лица. Я никогда его не знал. Но здесь, в этом сне, мне кажется, что я могу его увидеть. Если пройду дальше».

Это был вход. Туда, где жило «Сердце». В бункер под ЧАЭС. В ту самую лабораторию на глубине тридцати метров, где учёные в 1986 году, через месяц после аварии, создали механизм, который должен был остановить катастрофу. Механизм, который вместо этого запустил процесс, работающий до сих пор. Который создал Зону. Который питал её. Который сделал её живой.

За порогом, в глубине арки, горел золотой свет. Он был живым. Скар понял это сразу, как только луч коснулся его лица. Свет не был ровным, как от лампы накаливания, — он пульсировал. Медленно, глубоко, с паузами, заполненны-

ми абсолютной давящей тишиной. Пульсация была ритмичной, как у здорового сердца в состоянии покоя — шестьдесят ударов в минуту, ни больше ни меньше. Скар невольно приложил два пальца к сонной артерии, под челюсть, туда, где кожа тонкая, где прощупывается каждое биение. Шестьдесят два. Почти совпадало.

— Сердце, — прошептал он.

Голос показался чужим, далёким, будто говорил кто-то другой, спрятанный глубоко внутри. Эхо подхватило слово, закружило, размножило, превратило в шёпот, в молитву, в проклятие.

Голос пришёл оттуда — из света. Сначала тихо, едва слышно, на частоте, которую улавливают не уши, а позвоночник. Вибрация прошла по костям, от копчика до затылка, заставив зубы занять, а мышцы шеи напрячься. Скар почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом — не от страха, от электричества, которое разлито в воздухе.

— Ты уже нёс меня. Я лежало в твоей ладони. Ты назвал меня «Слезой». Продал Сидоровичу за двести долларов. Как продают скот на рынке. Как продают мясо.

Скар вздрогнул. Пальцы сами собой сжались в кулак — старый рефлекс, защита от неожиданности, выработанный за годы войны. Кулак сжался до хруста, до белых костяшек. Он повернулся на голос, но за спиной никого не было. Только бетонная стена, покрытая трещинами, похожими на паутину, и капли воды, которые падали, падали, падали, отсчитывая

секунды, которых не существовало.

— Ты не помнишь, — продолжал голос. Теперь он звучал отовсюду — из стен, из пола, из воздуха, из самого света. Он проникал в уши, в голову, в самую глубину мозга, минуя сознание, обращаясь напрямую к тому, что не поддаётся контролю. — Ты был молод. Жаден. Ты хотел денег. Ты не знал, что держишь в руках. Но я запомнило тебя. Запомнило твоё тепло. Твой страх. Твою боль. Твоё одиночество.

Пауза. Тишина втянулась в себя, как змея сворачивается в клубок, готовясь к броску. Потом голос добавил — тише, почти обиженно:

— Ты даже не знал, что я — живое. Ты думал, я просто камень. Красивый, дорогой, редкий. Ты не чувствовал, как я пульсирую в такт твоему сердцу. Ты не слышал, как я зову тебя по ночам. Ты не знал, что я — твоё.

Скар провёл языком по губам — пересохли, потрескались, солоно от пота, который выступил на лбу, на висках, на верхней губе. Пот забивался в трещинки, щипал, как йод на свежую ссадину. Лоб покрылся испариной — мелкой, холодной, липкой, — хотя не было жарко. Наоборот, холод пробирал до костей, заставлял неметь пальцы ног, сжиматься в кулаки и снова разжиматься в такт пульсу. Холод был странным. Не таким, как в вагоне, — там он был просто температурой, физикой, которую можно перетерпеть, натянув одеяло до подбородка. Здесь холод был живым. Он заползал под одежду, под кожу, под мышцы, добирался до костей и оста-

вался там — пульсировал, как второе сердце, как то самое «Сердце» в глубине бункера.

— Чего ты хочешь? — спросил он. Голос не дрожал — он был ровным, командирским, тем самым, который заставлял новобранцев вытягиваться во фрунт и бледнеть под взглядом. Скар специально придал голосу жёсткости — так легче было не показывать страх. Страх, который разъедал изнутри, как кислота, как радиация, как память о тех, кого он не смог спасти.

Но внутри, там, где прятался настоящий Скар, который не носил броню, не проверял автомат на рассвете и не считал патроны перед боем, всё тряслось. Тряслось, как в лихорадке. Как в Афгане, когда они попали в засаду в ущелье и он впервые увидел смерть вблизи — не в учебке, не на полигоне, а настоящую, чужую, с запахом горелого пороха и крови, который потом не выветривается из ноздрей неделями.

Он вспомнил лицо того парня. Молодой, почти мальчик, с пулей в груди, хрипит, кровь пузырится на губах, а глаза уже пустые, смотрят в никуда. Скар держал его за руку, сжимал, говорил: «Держись, брат, сейчас придёт вертушка, вытащим». Но вертушка не пришла. Никогда не приходила. Парня звали Лёха. Ему было девятнадцать. Он любил играть на гитаре — старой, с натянутыми нейлоновыми струнами, которые вечно расстраивались, — и пел хриплым сорванным голосом песни Высоцкого. «Если друг оказался вдруг...» Скар иногда слышал его голос по ночам, когда не

мог заснуть. В тишине спальни, в гуле колёс, в шорохе снега за окном. Голос был шёпотом, эхом, памятью.

— Я хочу, чтобы ты вернулся, — ответил голос. Теперь он был ближе. Будто «Сердце» говорило прямо из воздуха, в сантиметре от его лица. — Ко мне. В бункер. Туда, где я родилось. Туда, где я умру, если ты этого захочешь.

— Зачем?

— Потому что ты — мой избранник. Не по силе. Не по уму. Не по смелости. А потому, что ты уже нёс меня в руках и не пожелал ничего для себя. Ты продал меня, как продают хлеб. Но ты не предал меня. Ты не поклонился. Ты не попросил у меня власти, денег, бессмертия, как делали все остальные.

Голос стал тише, почти доверительным:

— Те, кто приходил до тебя. Сталкеры, которые надеялись разбогатеть. Учёные, которые хотели меня изучить. Военные, которые мечтали использовать меня как оружие. Генералы, политики, торгаши — все они приходили с пустыми руками и пустыми глазами. Они просили. Требовали. Умоляли. А ты... ты просто взял и продал. Как обычную вещь. Без трепета, без страха, без надежды. Ты единственный, кто не поклонился.

— Я не поклоняюсь камням, — сказал Скар. — Я поклоняюсь только тем, кто заслужил. Тем, кто был рядом. Тем, кто не бросал.

— А кто заслужил? — спросил голос. В нём появилась усмешка — холодная, безжизненная, как треск льда под ногами. — Савча? Чайка? Пашка? Или ты сам?

Скар не ответил.

Свет вспыхнул ярче. На секунду Скар ослеп — увидел сквозь веки багровые пульсирующие сполохи, похожие на те, что бывают, если сильно нажать на закрытые глаза пальцами. В ушах зазвенело — высоко, тонко, на грани слышимости, как комар над ухом в летнюю ночь. Звон нарастал, превращался в гул, гул — в вой, вой — в крик. Крик был нечеловеческим — древним, диким, полным боли и ярости. Скар зажал уши руками, но крик проходил сквозь пальцы, сквозь кожу, сквозь кости, добираясь до самого мозга. Крик нёс в себе образы. Скар увидел их — не глазами, а чем-то другим, что жило глубоко внутри, в подкорке, в древнем рептильном мозге, который не знает слов, но помнит всё.

Пожар. Чёрный дым над реактором. Люди в защитных костюмах бегут по коридорам, падают, не встают — их тела скручивает судорога, рты открыты в беззвучном крике. Учёный с седой бородой стоит у пульта, пальцы на кнопках, глаза закрыты. Он шепчет: «Простите, я не знал. Я не знал, что оно станет живым». Рядом с ним — женщина, молодая, в белом халате, держит в руках артефакт — маленький, синий, пульсирующий. «Слеза». Часть «Сердца». Она смотрит на него и плачет. Кровь течёт из её носа, из ушей, из глаз — красные дорожки на белой коже, как трещины на мраморе.

Но она не отпускает.

Крик стих так же внезапно, как и начался. Тишина навалилась на Скара — плотная, ватная, давящая, как одеяло, под которым невозможно дышать. В этой тишине он слышал биение собственного сердца. И ещё что-то. Второе сердце. Где-то там, в глубине арки, в золотой пульсации.

— Ты единственный, кто может меня активировать, — сказал голос. — Или уничтожить. Выбор за тобой.

— А если я не пойду?

— Ты пойдёшь, — голос стал тише, будто удалялся, уходил в глубину арки, в золотую слепящую пустоту. Но слова всё равно были чёткими, отчётливыми, каждое — как удар молотом по наковальне. — Потому что у тебя есть долг. Ты обещал Коляну найти «Сердце». А слово для тебя — закон. Ты пойдёшь, потому что Савча жив. Ты пойдёшь, потому что Чайка ждёт. Ты пойдёшь, потому что не умеешь сидеть на месте, когда кто-то нуждается в тебе. Даже если этот кто-то — уже мёртв.

— Колян мёртв, — сказал Скар. — Я видел, как его придавило обломками. Я слышал, как он кричал. Я не смог его вытащить.

— Он мёртв для мира, — ответил голос. — Но не для меня. Я помню его. Он был чистым. Как ты.

— А если я не захочу? — Скар почти выкрикнул это. Голос сорвался, стал хриплым, ломким, как у подростка на пе-

реходе, когда голосовые связки ещё не окрепли, а эмоции зашкаливают. Эхо ударило по стенам, заметалось, множась, истаяло в темноте.

Вопрос повис в воздухе. Тяжёлый, как свинцовая гиря, как рюкзак с артефактами, который он нёс на себе двадцать лет.

— Ты всегда хочешь того, что должен, — ответил голос. Спокойно. Равнодушно. Не осуждая. — Ты не знаешь других желаний. Ты никогда не позволял себе хотеть. Только — делать. Выполнять. Спасать. Ты думаешь, что это сила. Но это — слабость, Скар. Ты боишься мечтать. Боишься, что мечты не сбудутся. Что надежда обманет. Что любовь уйдёт. Поэтому ты заменил их долгом. Долг не обманывает. Долг всегда исполним. Всегда понятен. Всегда... безопасен.

Свет погас разом. Не как лампочка, перегоревшая, — с шипением, с хлопком, с запахом озона, ударившим в ноздри так резко, что защипало в носу. Скар остался в полной абсолютной давящей темноте. Только капли воды продолжали падать. Кап. Кап. Кап. Медленно, как капельница в больничной палате, как отсчёт времени до последнего вздоха. Он стоял в темноте, не двигаясь, не дыша. Ждал. Ничего не происходило. Тогда он открыл глаза.

Скар проснулся от того, что поезд дёрнулся, затормозил, и его тело по инерции прижало к холодной пластиковой стене купе. Голова стукнулась о перегородку — глухо, но ощутимо, с тем особенным звуком, когда кость встречается с пла-

стиком, а мозг — с внутренней поверхностью черепа. В затылке отозвалась тупая пульсирующая боль — та самая, старая, от контузии, которая появлялась каждый раз, когда он резко менял положение тела. Скар замер на секунду, пережидая, пока боль утихнет. Сжал зубы — до скрежета, до боли в челюсти.

— Твою мать, — прошептал он, растирая затылок. — Твою мать.

Он сел. Свесил ноги с полки. Пальцы босых ног коснулись грязного пола — серого, в мелких соринках и чьих-то обгоревших спичках, с тёмными маслянистыми пятнами от пролитого чая. Пол был холодным, шершавым, с мелкими заусенцами, которые впивались в нежную кожу ступней. Щиколотки заныли — старые травмы, прыжки с парашютом на замёрзшую землю в Афгане, когда коленные суставы складывались не туда, куда надо, а боль не замечали из-за адреналина, из-за криков, из-за необходимости тащить раненого к вертолёту. Скар пошевелил левой ногой — хрустнуло. Правой — тоже. Потерпит. Всегда терпел.

Он вспомнил, как в Афгане они шли по горам, и его колено распухло до размеров футбольного мяча — неудачно прыгнул с камня на камень, связки растянул. Савча тогда сказал: «Скар, давай я понесу твой рюкзак». Скар отказался. Прошёл ещё десять километров. Ныл, хромал, матерился сквозь зубы, но не снял рюкзак. Не потому, что был сильным. Потому что привык нести. Привык, что никто не поне-

сёт за него.

Над головой — потолок купе. Бледно-голубой, в мелких трещинах, с желтоватым пятном от старой протечки, которая тянулась от окна вдоль всей полки. Пятно было похоже на карту материка — с заливами, полуостровами, цепочками мелких островов. Скар смотрел на него и думал: «Если бы существовала карта моей жизни, она выглядела бы так же. Трещины, протечки, жёлтые пятна. И ни одного ровного чистого места».

Чистого места не было никогда. Детдом — трещина. Армия — протечка. Афган — жёлтое пятно. Чечня — ещё одно. Зона — сотни мелких чёрных точек, которые нельзя отмыть, нельзя закрасить, нельзя забыть.

Слева, за тонкой пластиковой перегородкой, храпел толстый мужик в тельняшке — размеренно, с присвистом, с влажным бульканьем на выдохе. Храп был низким, горловым, с долгими паузами на вдохе — казалось, мужик задыхается, не может вдохнуть и вот-вот умрёт. Но на очередном выдохе всё повторялось. Скар насчитал пять циклов, прежде чем перестал слушать. Он подумал: «Этот мужик не знает, что через десять часов мы будем в Зоне. Он не знает, что такое псевдопёс, аномалия «электра» или «карусель». Он едет по своим делам — в Москву, в Киев, домой, на работу. Его проблемы — это начальник, зарплата, простуда. А мои проблемы... мои проблемы умеют кусаться и стрелять».

Справа, на верхней полке, спала Чайка. Он посмотрел на неё. Лицом к стене, свернувшись клубком, поджав колени к животу — в той же позе, в которой только что лежал он сам. Волосы разметались по подушке — длинные, тёмные, с двумя седыми прядями на висках, которых раньше не было. Или были, просто он не замечал. Дышала ровно, глубоко — грудь поднималась и опускалась с мерным спокойным ритмом. Сон без сновидений, без кошмаров, без Зоны. Иногда Скар завидовал этой её способности — отключаться полностью, без остатка. Сам он спал как зверь: вполглаза, настороженно, готовый вскочить по первому шороху.

Скар задержал взгляд на её лице. Во сне оно казалось моложе — лет на двадцать, не больше. Исчезли жёсткие складки у рта, исчезла напряжённость в глазах, исчезла та настороженность, с которой она смотрела на мир днём. Губы чуть шевелились — будто она говорила с кем-то во сне. С братом, наверное. Или с собой. Или с теми, кого уже нет.

«Не уходи...», — прошептала она — или показалось. В темноте и тишине купе все звуки были обманчивы.

Скар вспомнил, как они встретились. Год назад. Красное. Зброшенна деревня. Он искал артефакт для Сидоровича — «кристалл», редкий, дорогой, который мог стоить до пяти тысяч долларов, если найти нужного покупателя. Она сидела в подвале разрушенного дома, сжимая в руках обрез, и смотрела на него пустыми потерянными глазами. Её брат пропал

в Зоне три месяца назад. Она пришла искать его. Одна. Без карты, без детектора, без опыта. С одним обрезом — старым ИЖ-27, переделанным на скорую руку, — и надеждой. Скар тогда сказал: «Ты умрёшь здесь. Уходи». Она ответила: «Я не боюсь смерти». Скар сказал: «Ты должна бояться. Страх помогает выжить». Она не ответила. Просто пошла за ним. И идёт до сих пор.

Скар потянулся к груди. Пальцы нащупали холодный шершавый амулет — кусок арматуры, согнутый в кольцо и оплавленный в аномалии. Когда-то это был строительный материал — обычный, ничем не примечательный прут, каких тысячи лежат в руинах Зоны, проржавевших и никому не нужных. Аномалия «Электра» прошла через него, переплавляла, перековала, превратила в нечто иное. Металл стал твёрже стали, легче алюминия и всегда был тёплым — на несколько градусов выше температуры тела, независимо от погоды. Чайка подарила амулет на прощание перед самым выходом из Москвы. Сказала: «Носи. Не снимай. Он спас меня однажды».

Скар помнил тот день. Они стояли на перроне Киевского вокзала, снег падал крупными влажными хлопьями, таял на лице, на куртках, на рюкзаках. Хлопья были тяжёлыми, мокрыми — такими, из которых хорошо лепить снежки. Чайка сняла амулет с шеи — верёвка зацепилась за пуговицу, пришлось повозиться, пальцы её дрожали — не от холода. Потом протянула ему.

— Возьми, — сказала она. — Он защищает. Не знаю от чего, но защищает. Я не снимала его ни разу с того дня, как вошла в Зону. А теперь... теперь он нужен тебе больше.

— От чего он защищает? — спросил Скар тогда.

Она пожала плечами:

— Не знаю. Просто защищает. Доверься.

Он не доверял амулетам. Не доверял талисманам, заговорам, молитвам и оберегам. Не доверял ничему, что нельзя проверить выстрелом или взвесить на ладони. Но этот кусок арматуры он носил на груди уже полгода. И до сих пор не снял. Может, потому, что он был тёплым. Может, потому, что Чайка попросила. А может, потому, что в Зоне, когда вокруг умирает всё, даже сама надежда, хватаешься за любую соломинку. Даже за кусок переплавленной арматуры.

Скар сжал амулет в кулаке. Косточки пальцев хрустнули — он сжимал слишком сильно. Металл был тёплым. Живым. Почти как «Сердце» во сне.

Он отпустил амулет, и тот упал на грудь, глухо стукнув о бронежилет. Сон был не сном. Сон был предупреждением. Или приказом. Или напоминанием о том, что «Сердце» не забыло его, не отпустило, не простило.

Он встал, опираясь о стену, — голова закружилась, в глазах потемнело на секунду, но прошло через пару ударов сердца. Подошёл к окну, отёрнул грязную выцветшую шторку.

За окном была ночь. Бескрайняя, серая, уходящая до са-

мого горизонта, где небо сливалось с землёй в одну сплошную бесформенную массу. Снег — первый, зимний — лежал на пашне неровными рваными пятнами. Местами глубокий, по пояс, — там, где ветер намёл сугробы у лесополос и оврагов. Местами сдутый до голой мёрзлой земли, покрытой тонкой ледяной коркой, блестящей в свете луны, как битое стекло. Луна висела высоко — тонкий бледный серп, похожий на старый стёртый ноготь. Света от неё было так мало, что Скар различал только общие очертания: тёмные силуэты деревьев, белые пятна снега, чёрную ленту дороги, которая вилась между полями, исчезая в серой предрассветной дымке. Дорога пустовала. Ни фар, ни фонарей, ни машин. Только снег, только тишина, только холод, который пробирал сквозь двойные стёкла, заставлял ёжиться и кутаться в старую армейскую куртку.

Скар прижался лбом к холодному стеклу. Стекло было мутным, в мелких трещинах и потёках — старый уставший пластик, который помнил ещё советские времена, перестройку, лихие девяностые и нулевые, когда поезда ходили чаще, а сталкеров в Зоне было в десять раз меньше. За ним — ночь. И снег. И там, где-то за горизонтом, — Зона.

Но где-то там, далеко за горизонтом, Скар видел свечение. Слабое, фиолетовое, почти незаметное на фоне ночного неба. Оно пульсировало. Так же, как во сне.

«Сердце». Оно ждало. Оно всегда ждало.

Поезд шёл на юг. К Кордону. К Зоне.

Скар достал из кармана потрёпанную, сложенную вчетверо карту Сидоровича. Бумага была мягкой, засаленной, с тёмными пятнами на сгибах — кофе, чай, кровь, неизвестно. Красным фломастером был прочерчен маршрут — через лес, через пустошь, через бункер под ЧАЭС. Там, в конце маршрута, стоял жирный крестик и надпись каллиграфическим, почти учительским почерком: «Вход здесь. Осторожно — Монолит. И не сдохни, Скар. Я в тебя шестьдесят пять тысяч вбухал, не подведи».

Скар усмехнулся — криво, безрадостно, одним уголком рта. Сидорович даже в карту умудрился воткнуть напоминание о долгах. Шестьдесят пять тысяч долларов — столько стоили операция Пашки, реабилитация, перелёты, консультации московских профессоров, которые брали за приём как за крыло самолёта. Долг. Вечный, тяжёлый, невыплачиваемый. Он сунул карту обратно в карман.

Провёл рукой по лицу — по шраму, который тянулся от виска до подбородка. Белый, глубокий, слегка пульсирующий на холоде. Детдомовская травма. Упал с крыльца в четыре года — поскользнулся на мокрой кафельной ступеньке. Рассек щёку до кости — белая гладкая поверхность черепа блестела в свете операционной лампы, пока фельдшер в сельской больнице накладывал швы. Без наркоза — в больнице не было. Воспитатели потом говорили: «Крепкий парень. Даже не пикнул».

«Крепкий», — подумал Скар. — «Если бы они знали, что

я плакал не от боли. Я плакал, потому что меня никто не держал за руку».

Он помнил тот день. Помнил холодный кафельный пол, запах йода и крови, грубые руки фельдшера, который держал его голову, пока игла входила в кожу. Помнил, как смотрел в потолок — белый, с трещиной, похожей на молнию. И как думал: «Мама, если ты есть, приди. Подержи меня за руку».

Мама не пришла.

Он отвернулся от окна. Посмотрел на Чайку — она заворачивалась на верхней полке, натянула одеяло выше, спрятала нос. Усмехнулся — в этот раз легче, почти по-человечески.

— Спи, — прошептал он. — Завтра будем на Кордоне. А послезавтра — в Зоне.

Чайка не ответила. Только вздохнула во сне и перевернулась на другой бок.

Скар сел на нижнюю полку, положил автомат на колени. Старый АКСУ — с погнутым стволом (память о бое с псевдосом в ангаре), с перемотанным синей изолентой цевьём (щепки торчали, кололись, мешали держать), с потёртым засаленным прикладом (на котором когда-то были выбиты номер части и фамилия «Шевцов» — давно стёрлись, остались только смутные вмятины). Автомат пах пороховой гарью, машинным маслом и железом — запах, который Скар знал лучше, чем запах собственного тела.

Он разобрал его — привычными отточенными движен

ями, вслепую, не глядя. Сначала отсоединил магазин — нажал на защёлку, магазин выпал, глухо стукнул о колено. Проверил: три патрона осталось, два в обойме, один в патроннике. Снаряжать надо, но не сейчас, потом. Потом отделил ствольную коробку — нажал на защёлку крышки, сдвинул назад, приподнял. Вынул затворную раму, газовую трубку. Палец сам собой проверил состояние канала ствола — поднёс к глазу, посмотрел на свет. На стенках — нагар, чёрный, маслянистый, но не критично. Копоть от пороха смешалась с крошечными частицами песка, которые забиваются при каждом выдохе, когда идёшь по пустоши, а ветер дует в лицо, поднимая тучи чёрной радиоактивной пыли. Скар снял копоть ногтем — кусочки отпали, рассыпались в труху. Вытер ветошью — старой промасленной тряпкой, которую носил в кармане разгрузки специально для чистки. Смазал — тонким ровным слоем, без излишеств. В Зоне масло притягивает пыль, а пыль убивает оружие быстрее врагов.

Он думал о том, что сказал голос во сне.

«Ты боишься мечтать».

Может, и боится.

Он не помнил, когда в последний раз мечтал. В детдоме — да. Мечтал о маме. О том, что она придёт, заберёт его, они будут жить в маленьком домике с садом, и она будет печь пироги с яблоками и корицей, и будет пахнуть так, как пахло у приёмной матери в то короткое счастливое полугодие, когда его взяли из детдома в семью. Потом пришла тётя Валя

— воспитательница, которая держала его за руку, когда было страшно. Он перестал мечтать о маме. Стал мечтать, что тётя Валя усыновит его. Не усыновила. Уехала. В другой город. Сказала на прощание: «Ты сильный, Скар. Справишься».

В армии он мечтал выжить. В Афгане — вернуться. В Чечне — забыть. В Зоне — найти цель. И находил. Всегда находил. Но цель была не его. Всегда чужая. Савчи, Пашки, Коляна, Сидоровича. Чужая боль, чужие надежды, чужая жизнь.

Чайка высунула голову из-под одеяла, сонно моргая. Глаза её слипались, она тёрла их кулаком, как маленькая девочка.

— Не спится? — спросила она. Голос был хриплым, с утренней детской припухлостью.

— Не спится, — ответил Скар, не поднимая головы. — Привык в Зоне не спать по ночам. А здесь тихо. Спокойно. Непривычно.

— Приснилось что-то?

Скар помолчал. Собрал автомат обратно — защёлкнул ствольную коробку (услышал характерный щелчок, означающий, что крышка встала на место), вставил магазин (нажал до щелчка, дёрнул, проверяя — держит), передёрнул затвор (патрон дослан, можно стрелять). Сухой металлический щелчок показался оглушительным в тишине купе.

— Приснилось, — сказал он. — Дрянь.

— Какая? — Чайка села, свесила ноги, потянулась. Позвоночник хрустнул — она поморщилась. Спина затекла от

долгого лежания на жёсткой полке.

— Неважно. — Скар встал, сунул автомат в чехол. — Спи.

— Не хочу. — Чайка спрыгнула с полки, села рядом, на нижнюю, прижалась плечом к его плечу. — Расскажи.

Скар посмотрел на неё. В её глазах — не любопытство, не беспокойство, а спокойное ровное присутствие. Такое, какое бывает у людей, которые готовы слушать что угодно, даже если это больно. Которые не перебивают, не советуют, не пытаются «исправить» или «утешить». Просто сидят рядом и слушают. И этого достаточно.

— «Сердце» зовёт, — сказал он. — Как в прошлый раз. Как тогда, когда мы с Коршуном спускались в бункер. Только теперь — громче. Настойчивее. Оно хочет, чтобы я вернулся.

— Зачем?

— Не знаю. — Скар пожал плечами. — Активировать. Уничтожить. Поговорить. Оно не говорит прямо. Только образами. Только снами.

— Ты боишься?

Скар усмехнулся — сухо, безрадостно.

— Боюсь. Всегда боялся. С первого дня в Зоне. Просто привык не показывать.

— А чего именно? — Чайка наклонила голову, вглядываясь в его лицо. — Смерти? Боли? Или того, что «Сердце» попросит?

— Всего, — ответил Скар. — И того, что я соглашусь.

— На что?

— Отдать всё, что у меня есть. Память. Свободу. Жизнь. Или тех, кого я люблю.

Они помолчали. Где-то за стенкой храпел мужик в тельняшке. Где-то в тамбуре курили, и запах дешёвых сигарет — «Прима», наверное, или «Винстон» — просачивался под дверь, смешиваясь с запахом поездной пыли и старого нагретого пластика.

— Скар, — сказала Чайка. — А если «Сердце» попросит тебя остаться? Навсегда? Что ты ответишь?

— Не знаю, — ответил он. — Но, наверное, соглашусь. Потому что если я откажусь — Зона уничтожит всех, кто мне дорог. Савчу. Пашку. Тебя.

— А мы? — Чайка посмотрела ему в глаза. — Мы что будем делать без тебя?

— Жить, — сказал Скар. — Как жили до меня. Как будете после.

Чайка не ответила. Только отвернулась, спрятала лицо в ладонях.

Скар не стал её утешать. Он не умел. Вместо этого он снова подошёл к окну, отдернул шторку, посмотрел на снег, на луну, на пустую дорогу. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Пора. Через час будем на месте.

Чайка подняла голову. Глаза её были сухими, красными — но не от слёз.

— Я с тобой, — сказала она.

— Знаю.

— До конца.

— Знаю.

Они собрали вещи. Молча, без лишних слов, как делают люди, которые знают друг друга достаточно долго, чтобы не тратить время на объяснения. Поезд замедлял ход. За окном замелькали огни — редкие, жёлтые, больные. Полустанок «Чернобыль-Южный».

Две ступеньки вниз — и снег под ногами. И холод. И запах Зоны — горький, сладковатый, вьедливый. Запах, который не выветривается из ноздрей даже спустя годы. Поезд ушёл. Скар и Чайка остались на перроне одни. Впереди была дорога. Десять километров по замёрзшей земле. Лес. Сектанты. «Карусель». Метро-2. «Сердце». Скар поправил лямку рюкзака. Проверил автомат. Посмотрел на Чайку — та кивнула.

— Пошли, — сказал он.

Они шагнули в темноту.

Глава 1. Кордон — старые долги

Поезд остановился на полустанке «Чернобыль-Южный» за час до рассвета. Это был не рассвет в привычном понимании — не розовые облака, не золотые лучи, не крик петухов на деревенских подворьях. Это было просто серое пятно на востоке, которое понемногу расплзлось, съедая звёзды одну за другой, как кислота съедает краску. Небо над головой было ещё чёрным, плотным, как старый асфальт, но на

горизонте уже занималась та особенная, предзимняя муть, которая бывает перед снегопадом — тяжёлая, влажная, обещающая.

Скар и Чайка сошли на перрон — пустой, заснеженный, освещённый одной-единственной лампой накаливания, которая гудела и мигала, как больное умирающее сердце. Лампа висела на покосившемся железном столбе, врытом в землю ещё в советские времена. Столб был покрыт слоем ржавчины — рыжей, шершавой, вздувшейся пузырями, — и чьих-то объявлений, точнее, остатков объявлений. Бумага, прибитая гвоздями лет двадцать назад, истлела, превратилась в серые мохнатые лохмотья, которые шевелились на ветру, как привидения, как руки утопленников, зовущие на помощь. Краска на вывеске «Чернобыль-Южный» давно облезла, буквы «Ч» и «Ю» почти стёрлись, и название можно было прочесть только по привычке — по очертаниям, по количеству букв, по тому смутному чувству, которое возникает, когда смотришь на что-то знакомое, но изменившееся до неузнаваемости.

Перрон пустовал — только они двое, старый бомж, спящий на деревянной скамейке, укрывшись грудой тряпья, и серая худая кошка, которая грелась под лампой накаливания. Лампа тускло горела, желтоватым больным светом, и кошка щурилась, лениво поводя ушами, когда ветер бросал в её сторону снежинки. Бомж был в ватнике — старом, про-

жжённом, с торчащей ватой из многочисленных дыр, — и сапогах, подошвы которых, казалось, вот-вот отвалятся. Он не шевелился. Скар подумал на секунду: «Мёртв?» — потом увидел, как плавно вздымается и опускается тряпьё на груди. Жив. Пока жив.

Скар перешагнул через две ступеньки, спрыгнул с подножки на присыпанный снегом перрон. Берцы утонули в снегу по щиколотку — снег оказался глубже, чем казалось из окна поезда. Холод тут же пробрался сквозь кожу, шерстяной носок и стельку, заставив пальцы ног рефлекторно сжаться. «Надо было надевать термобельё, — подумал Скар машинально. — Но в Москве было тепло. Никогда не угадаешь погоду в этой стране».

— Десять километров, — сказал он, оглядываясь. — Если будем держать темп — часа за три доберёмся. Если ничего не случится.

Сказал «если ничего не случится» и сам внутренне усмеялся. В Зоне всегда что-то случалось. Всегда. Как закон сохранения неприятностей: если тихо и спокойно — значит, ты что-то упустил. Значит, опасность уже рядом, просто ты её пока не видишь. Как минное поле под снегом — не видишь, но оно есть.

Чайка спрыгнула следом — легко, по-кошачьи, почти беззвучно. Навык, который она приобрела за месяцы в Зоне, когда каждое лишнее движение, каждый хруст ветки под ногой

мог привлечь внимание псевдопса или сектантского патруля. Скар помнил, как в первую их встречу в Красном она грохотала, как слон, — каждое движение выдавало новичка, человека, который не понимал, что в Зоне главное — не скорость и не сила, а незаметность. Теперь она двигалась плавно, текуче, перекачивая вес с пятки на носок, сгибая колени при каждом шаге, чтобы амортизировать и не создавать лишнего шума.

— Долго идти? — спросила она, поправляя лямку рюкзака.

— Часа три-четыре, — ответил Скар. — Если повезёт. — Он забросил рюкзак за спину. Лямки привычно врезались в плечи, натёртые до мозолей ещё в первую ходку, когда он нёс на себе тридцать килограммов снаряжения и не знал, что такое «правильное распределение веса». Правая лямка скрипела — старая кожа, пропитанная потом и многолетней пылью, издавала звук, похожий на писк мыши, на скрип несмазанной петли. Скар ненавидел этот звук — он раздражал, отвлекал, мешал сосредоточиться на главном. Но менять лямки было некогда, да и не на что. Шестьдесят пять тысяч долларов долга Сидоровичу не располагали к лишним тратам.

Он проверил автомат — отточенным машинальным движением передёрнул затвор, досылая патрон в патронник (металлический лязг, сухой и короткий, как удар костяшками по столу), потом поставил на предохранитель. Щелчок был коротким — таким, какой бывает только у хорошо смазан-

ного ухоженного оружия, которое носишь с собой каждый день, как часть тела. АКСУ висел на груди на широком брезентовом ремне, потёртом до белых ниток на сгибах.

— Готова? — спросил он, глядя на Чайку.

Та застегнула пуховик до горла — молния заела на середине, пришлось повозиться, дёрнуть, потом ещё раз, пока зубцы не встали на место. Натянула капюшон, затянула шнурки так, что лицо оказалось в глубокой спасительной тени. Обрез — старый ИЖ-27, переделанный под боевые патроны, с укороченными стволами и самодельным прикладом из бужовой доски, который Чайка выстругала сама, подгоняя под своё плечо, — она держала стволом вниз, большим пальцем на предохранителе.

— Готова, — ответила она.

— Тогда пошли.

Дорога от полустанка до Кордона была пустой и безмолвной. Когда-то, лет двадцать назад, здесь ходил автобус — старенький жёлтый «ПАЗик» с вечно пьяным водителем дядей Мишей, который довозил сталкеров до Кордона за патроны или тушёнку. Дядя Миша был добрым молчаливым мужиком с вечно красным носом (сеточка лопнувших капилляров, как у всех, кто много лет пьёт не останавливаясь) и руками, покрытыми татуировками — якоря, кресты, женские имена, даты — ни одной неразборчивой, всё чётко, с любовью, как у эзков, отбывших срок и не жалеющих об этом. Он умер три года назад. Уснул за рулём на обратном пути —

влетел в кювет на скорости под семьдесят, перевернулся три раза и загорелся. Автобус с тех пор стоял в лесу, проржавевший, без стёкол (осколки давно собрали сталкеры на самодельные ножи), с вырванными сиденьями (обивку содрали на растопку). Скар проходил мимо него пару раз — каждый раз казалось, что внутри кто-то плачет. Может, ветер выл в рваных дырах кузова, завывал в обрывках проводки, которые свисали с потолка, как мёртвые чёрные змеи. Может, чудилось от усталости. Сейчас они обошли стороной то место, где автобус стоял. Скар не хотел тревожить память дяди Миши. Не хотел слышать этот плач.

Снег покрывал дорогу неровным бугристым слоем — местами глубоким, по щиколотку, местами сдутым ветром до голого мёрзлого асфальта. Асфальт был старым, ещё советским, с глубокими продольными трещинами, из которых торчали жёсткие серые пучки травы. Трава не пожелтела и не засохла — она просто замёрзла такой, какой была, и торчала из трещин, как проволочная щетина, как иглы дикобраза. При шаге она хрустела — сухо, отрывисто, звук был похож на треск разрываемой ткани.

Скар шёл впереди, держа дистанцию с Чайкой в пять-семь метров — стандартная тактика разведгруппы, которой его учили ещё в учебке: одна граната не накроет двоих, один выстрел не положит обоих, один псевдопёс не сожрёт сразу двух, если они не бегут в обнимку. Он нёс вес тела так, чтобы каждый шаг был максимально беззвучным — перекат с

пятки на носок, вес распределён на внешнюю сторону стопы, колени чуть согнуты для амортизации. Дыхание — вдох на три шага, выдох на три шага, ровно, без рывков, чтобы пар изо рта не выдавал позицию.

Он заметил её раньше, чем услышал. Фигура сидела на обочине, прислонившись спиной к придорожному столбу, и курила. Женщина — судя по силуэту, поджарая, жилистая, с короткими седыми волосами, торчащими из-под вязаной шапки. Одежда — старый драный плащ-палатка (камуфляж «флора», ещё советский, с выцветшими пятнами), кирзовые сапоги с подмётанными подошвами, на груди — разгрузка советского образца, набитая патронами, на ремне — нож в кожаных ножнах, на запястье — старые командирские часы с треснувшим стеклом. Рядом с ней на снегу лежал карабин — «Вепрь», старый, но ухоженный, с оптическим прицелом, затёртым до блеска на сгибах.

Скар узнал её. Не сразу — прошло много лет. Но когда она повернула голову и посмотрела на него цепким колющим взглядом, каким смотрят только старые зоновские волки, прошедшие через всё, что можно пройти, и выжившие вопреки всему, память подсказала имя.

— Багряница, — сказал он, останавливаясь. — Ты жива.

— А ты думал, я сдохла? — Женщина усмехнулась, выпустила дым в морозный воздух. Дым был сизым, едким, пах дешёвым табаком и чем-то ещё — может, той самой Зоной,

которая въелась в её лёгкие за годы скитаний. Голос у неё был низким, прокуренным, с хрипотцой, которая бывает у людей, которые слишком много кричали в своей жизни. — Я живучая, Скар. Как таракан. Меня даже Зона не берёт.

— Давно не виделись, — сказал он. — Лет десять?

— Двенадцать, — поправила Багряница. — Ты тогда ушёл на Большую землю. Я осталась. Думала, ты не вернёшься.

— Вернулся, — ответил Скар.

Он подошёл ближе, присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с ней. Вблизи Багряница выглядела старше — морщины вокруг глаз стали глубже, кожа на лице — тоньше, почти прозрачной, как папиросная бумага. Но глаза остались теми же — жёсткими, цепкими, ничего не пропускающими.

— Вижу. — Она перевела взгляд на Чайку. — А это кто? Неужели напарница? Ты, который всегда ходил один? Я помню, ты даже со «Свободой» не хотел группироваться. Говорил: «Одиночка живёт дольше».

— Чайка, — представил Скар. — Она со мной.

Багряница изучающе посмотрела на Чайку. Та выдержала взгляд, не отвела глаз. Не сжалась, не втянула голову в плечи, не переступила с ноги на ногу. Просто смотрела в ответ, спокойно и ровно.

— Девка с характером, — сказала Багряница. — Редкость в Зоне. Держись за него, девочка. Он вытаскивает. Даже когда шансов нет. Я это помню. Ещё по девяносто восьмому,

когда он меня из подвала в Рыжем вытащил.

— Я знаю, — ответила Чайка.

Багряница затушила окурок о подошву сапога — прижала, повертела, пока не зашипело, — спрятала бычок в карман. Не мусорила. Уважала Зону даже после всего. Может, поэтому и выжила. Зона любит тех, кто её уважает. Или, по крайней мере, не наказывает сразу.

— Ты к Сидоровичу? — спросила она.

— К нему, — кивнул Скар.

— Передай привет. Скажи, что Багряница ещё дышит. И долг свой помнит. — Она поднялась, отряхнула снег с плащ-палатки. Движения её были быстрыми, экономными — никакой лишней суеты, никаких лишних телодвижений. Всё как у старых сталкеров: сила не в мышцах, а в привычке. — А мне пора. Зона не ждёт.

— Куда идёшь? — спросил Скар.

— На север. Там говорят, новая аномалия открылась. «Стеклянный лес». Всё, что туда попадает, превращается в кристаллы. Красиво, но смертельно. Хочу посмотреть, пока не закрыли. — Она усмехнулась. — Я всегда любила красивое. И смертельное. Они почему-то часто идут вместе. В Зоне — точно.

— Будь осторожна, — сказал Скар.

— Я всегда осторожна, — ответила Багряница. — Это ты не будь дураком. «Сердце» — не игрушка. Оно выбирает и не отпускает. Я видела тех, кого оно выбирало. Они не ухо-

дили. Они оставались там, в бункере. Навсегда.

Она повернулась и пошла в сторону леса, не оглядываясь. Снег быстро скрыл её следы — сначала глубокие, чёткие, потом затянутые позёмкой, потом и вовсе исчезнувшие, как будто её и не было. Ворон каркнул над головой — тот самый, которого Скар заметил ещё на перроне, или другой, не важно. Вороны в Зоне были везде. Они помнили всё.

— Кто это? — спросила Чайка, когда фигура исчезла за деревьями.

— Старая знакомая, — ответил Скар. — Одна из первых сталкеров. Ходила в Зону ещё в девяносто седьмом, когда о ней никто не знал за пределами Кордона. Когда Зона была по-настоящему дикой — без карт, без схронов, без правил. Теряла группу, теряла себя, но выживала. Всегда.

— Почему она одна?

— Потому что всех, кто шёл с ней, Зона забрала. — Скар поправил лямку рюкзака. — Идём. До Кордона ещё полтора часа. Если повезёт — застанем Сидоровича до обеда.

Лес начался через час. Сосны, берёзы, осины — старые, корявые, с ветвями, похожими на руки, скрюченные непосильной работой, на пальцы старика с артритом. Снег здесь был глубже — нетронутый, с редкими старыми следами зверей. Скар сразу заметил следы псевдопса — крупные, пятипалые, с длинными когтистыми отпечатками, которые глубоко вонзались в снег, оставляя рваные края. Следы уходили в лес, пересекали дорогу и терялись в чаще. Скар присел,

провёл пальцем по краю отпечатка, не касаясь самого углубления. Снег вокруг был жёлтым — моча зверя, метка территории.

— Псевдопёс, — сказал он Чайке. — Одиночка. Крупный самец. Судя по глубине отпечатков и ширине шага — килограммов под семьдесят. Может, и все восемьдесят. Старый, опытный — следы не петляют, идут прямо, уверенно. Такой не боится ничего.

— Если повезёт — не вернётся, — закончила за него Чайка.

— Если не повезёт — стреляем в упор. В голову или в грудь. Из автомата — очередью, из обрезка — картечью. В голову — обязательно. Иначе не упадёт.

Скар снял автомат с предохранителя — сухой короткий щелчок — и пошёл дальше. Чайка следом, держа обрез наперевес, стволом чуть в сторону, чтобы при резком движении не зацепить ветки. Лес молчал. Даже ветра не было — только тишина, ватная, давящая, от которой звон в собственных ушах казался громким, как сирена, как вой пожарной машины за углом. Снег под ногами не скрипел — он был старым, слежавшимся, и при каждом шаге издавал глухой хлюпающий звук, похожий на чавканье болотной жижи. Скар ненавидел этот звук. В Афгане, когда они ходили в горы, снег был другим — сухим, рассыпчатым, как песок в пустыне Сахара,

который не слеживается, не скрипит, не хлюпает. При правильной постановке ноги можно было двигаться почти бесшумно. Здесь снег не прощал ошибок. Каждый шаг был как выстрел.

Ветка хрустнула слева, метрах в двадцати. Скар замер, поднял кулак — сигнал «стой». Чайка замерла за его спиной, даже дышать перестала. Он повернул голову, прислушался, напрягая слух до боли в ушах, до звона, до ощущения, что барабанные перепонки вот-вот лопнут.

Кролик. Беляк. Зимой они белые, сливаются со снегом, но движения выдают — слишком резкие, слишком хаотичные. Он услышал, как зверёк шуршит в сугробе, ищет прошлогоднюю траву, замерзающие стебли, которые ещё не сгнили. Опасности нет. Скар опустил кулак, и они двинулись дальше.

Кордон показался из-за деревьев неожиданно. Сначала Скар увидел дым — сизый, едкий, поднимающийся из-за колючей проволоки тонкими вертикальными струйками. Дым поднимался вверх, смешивался с облаками и терялся в серой предрассветной дымке, становясь частью того самого серого пятна на востоке, которое называлось рассветом. Потом уловил запах жареного мяса — такого, которого не чувствовал уже несколько дней, с того самого обеда в Москве перед отъездом, когда они с Чайкой сидели в дешёвой столовой на

Курском вокзале и ели пересоленный плов с жирной бараниной. Желудок скрутило — громко, требовательно, с влажным бульканьем, так, что Чайка обернулась и подняла бровь, улыбнувшись.

— Потерпи, — буркнул Скар. — Скоро будем на месте.

Кордон был не лагерем в привычном смысле этого слова — не палаточным городком с ровными рядами и центральной площадью. Это было стойбище — десятки палаток, вагончиков, навесов, сколоченных из чего попало: цинковых листов, старых дверей, кусков брезента, автомобильных покрышек, разрезанных и натянутых на каркас из арматуры. Всё это лепилось друг к другу, как стая больных замёрзших зверей, которые сбились в кучу, чтобы согреться, и теперь торчали во все стороны острыми углами, ржавыми трубами, обрывками проводов. В дальнем конце, у бетонной стены (остаток какого-то довоенного строения, возможно, склада или гаража), стоял вагончик Сидоровича — единственное капитальное строение во всём лагере. Железный, крашеный зелёной краской, которая облупилась и облезла, как кожа после солнечного ожога. С двумя зарешёченными окнами и железной дверью, на которой кто-то маркером нарисовал череп с костями и подписал: «Не влезай — убьёт».

Скар и Чайка подошли к воротам. Охранник — тот са-

мый, с нашивкой «Нейтрал» на левом рукаве и автоматом «Вал» на груди, с глушителем и коробчатым магазином, — сидел на перевёрнутом ящике, чистил нож точильным камнем. Точильный камень был старым, истёртым до полумесяца — от него осталась только тонкая серповидная пластина, которую держали на коленях, боясь сломать. Нож — охотничьим, с широким тяжёлым лезвием (дамасская сталь, если верить клейму) и рукояткой из карельской берёзы, потемневшей от масла и пота. Охранник заметил их издали — прищурился, поднял голову, отложил нож в сторону. Сунул точильный камень в карман, поднялся с ящика.

— Живые, — сказал он, когда Скар подошёл на расстояние слышимости. Без удивления. Без радости. Констатация факта. Как «снег белый» или «водка горькая». — А я уж думал, Сидорович зря в тебя вбухал. Думал, не вернёшься.

— Живые, — ответил Скар. Перешагнул через колючую проволоку — пригнулся, чтобы не зацепить куртку (проволока была старой, ржавой, но зубастой, как акула), и пропустил Чайку следом.

— Сидорович на месте?

— А куда он денется. — Охранник сплюнул сквозь зубы — чёрную вязкую слюну, которую копили дёсны с утра. —

Сидит в своей конуре, курит, воняет на весь лагерь. Только вчера ругался, что ты долго. Говорил, если к вечеру не появишься — вычеркнет тебя из списка должников и продаст твой долг коллекторам. Есть, говорит, и в Зоне коллекторы — из бывших «долговцев». Которые в Зону пришли не артефакты искать, а людей прессовать.

— Не вычеркнет, — усмехнулся Скар, похлопав себя по карману, где лежала карта с долговой распиской Сидоровича. — Долги не прощает. Это его бизнес. — Он огляделся.

Кордон жил своей привычной размеренной жизнью. Слева, у костра, сидели трое «ветеранов» — старые сталкеры, которые ходили в Зону ещё до Выжигателя, в те времена, когда ЧАЭС ещё дымилась, а мутанты были редкостью, а не обычным делом. Они курили, молчали, смотрели на огонь. У одного на лице был шрам — от виска до подбородка, как у Скара, только с другой стороны, белый, келоидный, блестящий в свете костра. Он перехватил взгляд Скара, кивнул — без улыбки, но без враждебности. Скар кивнул в ответ. Они понимали друг друга без слов. Ветераны. Те, кто выжил. Те, кто потерял. Те, кто всё ещё здесь.

Справа, у палатки с надписью «Бартер» (выведено красной краской из баллончика, криво, но разборчиво), толпились «новички» — зелёные, шумные, полные надежды на

быструю наживу. Они спорили о цене на артефакты, показывали друг другу потрёпанные карты (купленные у Сидоровича за полцены, но с пометками, которые ничего не значили) и хвастались трофеями, которых у большинства ещё не было. Один из них — молодой парень в новеньком камуфляже (купленном в военторге за полторы тысячи, ещё пахнущем краской и магазинной пылью), с чистой не ношеной разгрузкой — увидел Скара и замер.

— Это тот самый Скар? — спросил он у соседа, не скрывая голоса. В голосе был трепет — смесь уважения и страха, как перед живой легендой.

— Тот самый, — ответил сосед, коренастый мужик с густой чёрной бородой, в которой запутались крошки табака. — Не смотри на него так. Он не любит, когда пялятся. И руки на автомат не клади. Он это воспринимает как угрозу.

Скар прошёл мимо, не оборачиваясь.

— Откуда они тебя знают? — спросила Чайка.

— Сидорович рассказал, — ответил Скар. — Или слухи. В Зоне слухи распространяются быстрее, чем радиация. И дальше.

Они прошли мимо картёжников — трёх заросших хмурых мужиков в потрёпанных куртках, которые сидели на пустых ящиках, прижавшись спинами к стене. Те замерли с картами в руках, проводили Скара и Чайку взглядами — без интереса, без уважения, просто отметили, что мимо прошли люди. Не угроза, не добыча, не свои. Просто люди. Один из них — низкорослый, с кривым носом (сломан как минимум дважды) и татуировкой «СВОБОДА» на шее, выколотой синими чернилами, уже расплывшейся от времени, — бросил на Чайку короткий цепкий взгляд. Не похотливый — оценивающий. Таким взглядом смотрят на потенциальную угрозу, на противника, которого надо запомнить на случай, если придётся встретиться в тёмном переулке. Чайка заметила, ответила тем же.

— Кто это? — спросила она, когда они отошли.

— «Свободовец», — ответил Скар. — Штопор. Был в Зоне три ходки, потом сорвался — надышался пси-излучением в подземельях под Красным. Теперь не ходит, сидит на Кордоне, играет в карты и пьёт. Опасный только вблизи. Если полезет — стреляй сразу. Не раздумывай. Он быстрее, чем кажется.

Они прошли мимо повара — толстого, вислого, давно немытого мужика в засаленном фартуке, который был ко-

гда-то белым, а теперь стал серым, с тёмными пятнами на животе. Тот помешивал кашу в закопчённом котелке деревянной обгоревшей ложкой. Каша пахла луком, перцем и чем-то подгоревшим — но всё равно аппетитно, по-домашнему, так, что у Скара снова скрутило желудок. Повар поднял голову, узнал Скара.

— Скар! — крикнул он. — Заходи вечером, я тебе борща оставлю. С мясом, настоящего. Не как в той столовке на Курском. С домашним мясом, с чесноком, со сметаной. По бабушкиному рецепту.

— Спасибо, Костя, — ответил Скар. — Если вернусь.

— Вернёшься, — уверенно сказал повар. — Ты всегда возвращаешься. Зона тебя не держит. Ты для неё не еда. Ты для неё — гость. А гостей не едят. По крайней мере, сразу.

Они пошли дальше. Мимо палатки, где кто-то играл на старой расстроенной гитаре — струны дребезжали, звенели не в унисон, лады не попадали в ноты, но мелодия была узнаваемой. «Группа крови» на выдохе, сбивчиво, с долгими паузами между куплетами, как будто гитарист учился играть заново. Мимо бочки, в которой жгли мусор (обрывки тряпья, картонные коробки, пластиковые бутылки), и запах горелого пластика смешивался с запахом свежего снега, создавая тот

особенный, ни с чем не сравнимый «аромат Кордона», который Скар знал лучше, чем запах собственной крови. Мимо группы «долговцев» — трое в тяжёлой чёрной броне (бронежилеты шестого класса защиты, с кевларовыми вставками и титановыми пластинами), с нашивками в виде волчьей головы, оскалившей пасть. Они бросили на Скара короткие оценивающие взгляды — профессионалы, оценивающие потенциального противника или союзника, — но ничего не сказали. «Долг» и независимые сталкеры не враждовали, но и не дружили. Каждый сам за себя. Закон Зоны.

Сталкеры провожали их взглядами — некоторые с уважением, некоторые с любопытством, некоторые с равнодушием. В Зоне привыкли к возвращениям. И к невозвращениям. Здесь не удивляются, когда кто-то уходит и не возвращается. Удивляются, когда возвращается.

Вагончик Сидоровича стоял в дальнем конце Кордона, прижавшись спиной к бетонному забору. Стены его были обшиты старыми проржавевшими листами жести, которые гремели при малейшем ветре, как кости скелета в шкафу. Крыша была покрыта слоем снега, который никто не счищал — за зиму он спрессовался, превратился в ледяную корку, и теперь блестел на солнце, как зеркало. Дверь была ржавой, петли — проржавевшими насквозь, и при каждом открытии издавали такой звук, будто кто-то пытался пытать кошку.

Скар толкнул дверь — та подалась с противным протяжным скрипом, от которого заныли зубы. Внутри было жарко, тесно и накурено до синевы. Дым от дешёвых сигарет висел в воздухе плотными сизыми клубами, медленно кружился под потолком, оседал на стенах, на одежде, на коже, делая всё вокруг липким и маслянистым на ощупь. Печка-буржуйка в углу раскалилась докрасна — маленькая, чугунная, с выгнутой чёрной трубой, уходящей в потолок. В щелях печи проступали оранжевые злые сполохи пламени, и воздух вокруг неё дрожал, как над асфальтом в летнюю жару.

Сидорович сидел за столом — на том же месте, в той же позе, в тех же очках с толстой роговой оправой, которые сидели на его носу криво, сползая к правому виску. Только седины прибавилось — виски стали совсем белыми, как первый снег, а борода — серебряной, иссиня-белой, как у деда Мороза на новогодней открытке. И лицо стало более землистым, больным, будто он спал не больше двух часов за последние дни и питался одним кофе и сигаретами.

Перед ним на столе — рюмка (гранёная, советская, с отколотым краем), наполовину пустая бутылка «Nemiroff» (уже начатая, видимо, не первая за сегодня), тарелка с чёрной засохшей икрой (края заветрились, почернели) и кусок чёрного бездрожжевого хлеба, от которого уже отрезали несколь-

ко ломтей. И ещё — старая потрёпанная фотография. Скар заметил её сразу, как только глаза привыкли к полумраку.

На фото — трое мужчин в военной форме, с автоматами, на фоне БТРа. Сам Сидорович, молодой, без седины, без очков, с коротким ефрейторским ёжиком на голове и здоровым румянцем на щеках. Рядом — Скар, ещё без шрама на лице, без седых волос, без той вечной усталости в глазах, которая появилась позже. И третий — которого Скар не узнал. Высокий, жилистый, с жёстким колючим взглядом, с нашивкой десантника на рукаве. Незнакомец стоял чуть позади, положив руки на плечи обоим, и улыбался — широко, открыто, без той маски, которую Скар привык видеть на лицах людей Зоны. Улыбался так, как улыбаются люди, которые ещё не знают, что их ждёт. Которые ещё не потеряли.

Сидорович быстро убрал фотографию в ящик стола, когда заметил взгляд Скара.

— Кто это? — спросил Скар, не садясь. Голос был жёстче, чем он хотел.

— Никто, — ответил Сидорович. — Прошное.

— У меня с тобой не было прошлого, кроме сделок, — сказал Скар. — Кто третий?

Сидорович молчал долго. Достал сигарету — «Парламент», в тонкой зелёной пачке, — закурил от зажигалки, которая была у него в руке уже наготове. Руки его слегка дрожали. Не от холода — в вагончике было жарко, градусов под тридцать. От чего-то другого. От памяти. От вины. От того, что он не хотел вспоминать.

— Мой брат, — сказал он наконец. — Погиб в Зоне. В девяносто седьмом.

— Как? — спросил Скар.

— Аномалия. «Мясорубка», — ответил Сидорович. — Только появилась тогда, новых карт не было. Никто не знал, где она прячется, как выглядит, как её обойти. Шагнул не туда. Пройдя через неё, он даже не закричал. Просто... перестал быть. Как будто его вырезали из реальности ножницами.

Он выпустил дым в потолок. Очки блеснули — Скар не видел его глаз, но знал, что они покраснели.

— Я после этого завязал с ходками, — продолжал Сидорович. — Открыл лавку. Стал торговать. Думал, что смогу забыть. Не смог.

— Ты скучаешь по нему? — спросила Чайка.

— Каждый день, — ответил Сидорович. — Но кто о нём вспомнит, кроме меня? Никто. В Зоне быстро забывают мёртвых. У них нет могил, нет памятников, нет имён. Только отпечатки в пепле.

— Не все, — сказал Скар.

— Ты — не все, — усмехнулся Сидорович. — Ты — другой. Садись, Скар. Не стой в дверях, как на параде. Закрой дверь, холод напускаешь. У меня и так дрова кончаются.

Скар сел на табуретку, не спросив разрешения. Табуретка жалобно скрипнула под его весом — старый разохшийся стул, который помнил ещё первых сталкеров, ещё те времена, когда Кордон был просто полем с колючей проволокой, а не лагерем. Чайка осталась стоять у входа, прислонившись спиной к холодной железной стене. Обрез она положила на колени, руки — на ствол. Поза отдыха, но готовности. В любой момент вскинуть и стрелять.

— С деньгами? — спросил Сидорович, кивнув на рюкзак Скара.

— Не с деньгами, — ответил Скар. — С вопросами.

Сидорович усмехнулся — сухо, безрадостно.

— Вопросы денег стоят, Скар. Ты же знаешь. Я бизнесмен, а не благотворитель. У меня семью кормить не надо, но курить хочется каждый день. И печку топить надо. И патроны покупать. Всё это стоит денег.

Скар достал из кармана горсть артефактов-мелких. Три «плесени» — зелёные, липкие на вид, покрытые мелкими гноющимися пузырьками, которые лопались при прикосновении, оставляя на пальцах маслянистый след. Два «пальца» — чёрных, острых, похожих на когти огромной доисторической птицы, на зубы птеродактиля. Один разбитый «кристалл» — прозрачный, но в глубоких трещинах, тускло мерцающий, как старый хрусталь, который вот-вот рассыплется. Выложил на стол.

— За ответы, — сказал он.

Сидорович взял «кристалл», поднёс к глазам, покрутил, рассматривая трещины на свету, который пробивался через грязное окно. Артефакт замерцал — тускло, синим, ультрамариновым светом, красиво, холодно, смертельно. Потом положил обратно, брезгливо отодвинул «плесень» пальцем — они оставили на столе зелёные маслянистые разводы.

— «Плесень» брать не буду, — сказал он. — Некому про-
давать. Все, кто брал «плесень», или умерли, или ушли из
Зоны. Бери «пальцы» и «кристалл». Задавай свои вопросы.

— Где «Сердце»? — спросил Скар. — Настоящее. Не то,
что показывают новичкам на экскурсиях по подземельям. Не
то, о котором рассказывают легенды у костра, перевирая де-
тали и приукрашивая смерть. А то, которое создали учёные
в тысяча девятьсот восемьдесят шестом. В лаборатории под
четвёртым блоком.

Сидорович медленно затаился, выпустил дым в потолок.
Задержал дыхание на секунду, потом выдохнул. Очки блес-
нули.

— Зачем тебе? — спросил он.

— Колян мёртв, — сказал Скар. — Но долг остался. Я
обещал ему «Сердце» — я найду.

— Колян мёртв, — повторил Сидорович. — Говорят, ты
сам был в том бункере. Сам видел, как его обломками при-
давило. Как он кричал, звал на помощь. И ты ушёл.

Скар промолчал.

— Не помог.

— Не смог, — ответил Скар тихо. — Обломки весили тонны. Если бы я остался — мы бы умерли оба. Он — под бетоном. Я — рядом, бесполезный. Так бывает.

— А ты не хотел умирать, — сказал Сидорович.

— Я не хотел, чтобы Колян видел, как я умираю рядом с ним. — Скар поднял глаза. — Есть разница.

Сидорович смотрел на него долгим изучающим взглядом. В этом взгляде читалось всё: уважение, насмешка, сожаление, надежда. Всё то, что накапливается за двадцать лет знакомства — сделок, долгов, обещаний, которые Скар всегда выполнял. Потом вздохнул — тяжело, всей грудью, так, что затрещали рёбра.

— «Сердце» не убьёшь, — сказал он. — И не заберёшь. Оно само выбирает, когда проснуться, а когда спать. Сейчас оно спит — с тех пор, как твой приятель Коршун ввёл код самоуничтожения. Но не уничтожился — заснул. Как медведь в берлоге. До весны. Или до того, кто его разбудит.

— Где оно сейчас? — спросил Скар.

— В бункере. Под ЧАЭС. Там, где и было. — Сидорович развёл руками. — Но войти туда невозможно. «Монолит» обосновался в подземных этажах. Они охраняют «Сердце» как святыню. Как чашу Грааля. Как ковчег завета. И они убьют любого, кто попытается к нему приблизиться. Даже если этот любой — ты.

— Пастырь? — спросил Скар.

— Пастырь, — кивнул Сидорович. — Новый пророк. Фанатик. Верующий. Не то, что тот шарлатан, которого ты в прошлый раз вырубил прикладом. Тот хотя бы знал, что обманывает. Играл роль для денег и власти. А этот сам верит в то, что говорит. Такие самые опасные. Их нельзя переубедить, нельзя подкупить, нельзя запугать.

Скар наклонился вперёд, опираясь локтями о стол.

— Что ты знаешь о Коршуне?

Сидорович усмехнулся — криво, болезненно.

— Коршун — другое дело. Коршун хочет уничтожить Зону. Вместе с «Сердцем». Вместе со всеми, кто в ней находится. Сталкерами, мутантами, аномалиями. Ему всё равно. Он

считает, что чистота требует жертв.

— Он псих?

— Он отец, — ответил Сидорович. — У него дочь умерла от лейкоза. Он собрал все деньги, которые смог найти, водил её по лучшим врачам, покупал самые дорогие лекарства, возил в Германию, в Израиль, в Америку. Ничего не помогло. Он винит в этом Зону. Думает, что если бы не радиация, не аномалии, не артефакты — дочь осталась бы жива. Может, он прав. Может, нет. Но он двадцать лет ждал этого момента. Он не остановится.

Скар встал. Поправил лямку рюкзака, подошёл к карте, висящей на стене. Старая, выцветшая, исчерканная красным и синим — маршруты, аномалии, схроны, места гибели групп. Красным — те, куда лучше не соваться. Синим — те, куда можно, но с осторожностью.

— Мне нужно снаряжение, — сказал он. — Детектор новый — «ВЕГА-6» или лучше. Патроны — пятьсот штук, 5.45, «Барнаул», заводские, не самокрутки. Аптечку — с тремя жгутами и кровоостанавливающей губкой, и промедол — четыре ампулы, не меньше. И карту — подробную, с отметками маршрутов «Монолита».

Сидорович не двигался.

— А деньги? — спросил он. — У тебя же ничего не осталось. Ты всё Савче отдал. И квартиру продал, и машину — старую «Ниву», которая ещё с Афгана была, и артефакты, которые копил годами. Сейчас ты банкрот, Скар. Гол как сокол. Как новорождённый.

— Заплачу, когда вернусь, — сказал Скар. — Артефактами. «Сердцем», если до него дотянусь.

— А если не вернёшься?

Скар посмотрел на него. Взгляд был тяжёлым, стальным — таким, от которого новобранцы на плацу бледнели и опускали глаза, не выдерживая и секунды. Взглядом командира, который выводил людей из окружения, когда шансов не было, но они всё равно выходили.

— Тогда считай это благотворительностью, Сидорович, — сказал Скар. — Похоронишь меня по-человечески. С иконой, с отпеванием, если найдёшь попа в Зоне. Я не религиозный, но традиции надо уважать.

Сидорович долго молчал. Потом вздохнул, достал из-под стола потрёпанный кожаный портфель (кожа была старой,

потрескавшейся, с облезшей краской) и начал выкладывать снаряжение на стол. Патроны — 5.45, «Барнаул», заводская упаковка, по двадцать штук в картонной коробке, перетянутой синей изолентой, чтобы не рассыпались. Детектор — «ВЕГА-6», новый, с цветным дисплеем и пятью режимами сканирования, в блистерной упаковке, которую ещё нужно вскрывать ножом. Аптечку — упакованную в герметичный пластиковый пакет, с тремя жгутами, четырьмя ампулами промедола (стеклянными, с тонкими шейками) и кровоостанавливающей губкой в вакуумной упаковке. Карту — новую, ламинированную, с отметками красным маркером, с координатами, с номерами квадратов, с пометками на полях, сделанными Сидоровичем.

— Забирай, — сказал он. — Даром. Потому что если ты не вернёшься — мне же хуже. У меня других должников таких надёжных нет. Только ты.

Скар упаковал всё в рюкзак — распределил по карманам, затянул лямки, подогнал ремни. Повернулся к выходу.

— Скар, — окликнул его Сидорович.

— Ммм?

— А если ты найдёшь «Сердце». Если оно проснётся. Что

тогда?

Скар остановился. Не оборачиваясь. Рука на ржавой дверной ручке.

— Тогда я сделаю выбор, — сказал он. — Тот, который не сделал в прошлый раз.

Он вышел. Дверь хлопнула, звякнув проржавевшими петлями, и тишина в вагончике стала другой — не такой плотной, не такой давящей, как будто вместе со Скарсом из комнаты вышел и часть той тяжести, которая висела в воздухе годами.

Чайка ждала у крыльца, прислонившись к перилам. Обрез она положила на колени, руки — на ствол. Но она была не одна.

Рядом с ней стоял человек.

Невысокий, сутулый, в длинном чёрном плаще, не похожем на обычную сталкерскую одежду — слишком тонкий, слишком старомодный, больше похожий на плащ священника или старого профессора. Лицо его было скрыто глубоким капюшоном, и только седая редкая борода выдавала возраст — давно за шестьдесят, а может, и за семьдесят. В руках он

держал странный посох — длинный, чёрный, с набалдашником в виде волчьей головы, вырезанной из дерева или кости, с глазами из мелких красных камней, которые тускло мерцали в свете утра.

— Отойди от неё, — сказал Скар, снимая автомат с предохранителя.

— Не бойся, сынок, — ответил незнакомец. Голос его был низким, горловым, с лёгкой едва уловимой хрипотой — то ли от простуды, то ли от возраста. — Я не причиню ей вреда. Я пришёл к тебе.

— Кто ты?

Незнакомец откинул капюшон. Лицо его было старым, изрезанным глубокими морщинами, как кора старого дуба, как трещины на высохшей земле. Глаза — светлые, почти бесцветные, с выцветшей радужкой, смотрели спокойно и немного грустно, как у человека, который видел слишком много смертей и научился не плакать. На лбу — странная татуировка: круг с точкой в центре. Символ Зоны. Или Монолита. Скар не мог различить.

— Меня зовут Велес, — сказал он. — Некоторые называют меня Последним Сталкером. Я хожу в Зону с девяносто

первого, когда она была ещё дикой — без карт, без правил, без законов. Я видел её рождение. И я видел, как она росла. И я видел, как она убивала.

— Что тебе нужно?

— Меня послал Колян. — Велес сделал шаг вперёд, опираясь на посох. — Перед смертью. Он сказал: «Найди Скара. Передай ему — вход в бункер не там, где он думает. Коршун идёт другим путём. Если Скар пойдёт за Коршуном — они оба умрут».

Скар смотрел на него долгим изучающим взглядом. Шрамы, морщины, татуировка. Глаза — цепкие, но не враждебные. Такой не врёт. По крайней мере, без причины.

— Колян мёртв, — сказал он. — Я видел это своими глазами.

— Мёртв для мира, — ответил Велес. — Но не для меня. И не для Зоны. — Он зашёл за пазуху, достал потрёпанный засаленный конверт. Протянул Скару.

На конверте было написано: «Скару от Коляна. Не вскрывать до Кордона». Почерк был Коляна — его каллиграфический, учительский почерк, с завитушками и наклоном впра-

во, который Скар узнал бы из тысячи, даже если бы увидел на стене в заброшенном бункере. Он вскрыл конверт, достал листок. На листке — координаты, схема бункера и короткая приписка: «Скар. Коршун идёт через северный вход. Там ловушка. Не ходи за ним. Иди через метро-2. Там чисто. Я проверял. Не ищи меня. Я там, где мне место. Колян»

Скар спрятал письмо в карман.

— Почему он не сказал мне это сам? Когда был жив?

— Потому что не успел, — ответил Велес. — Он умирал быстро. Обломки пробили лёгкие. Кровь шла горлом. Он не мог говорить — только шептать. Я успел записать. — Он помолчал. — Он просил, чтобы ты не винил себя. Ты не мог его спасти. Никто не мог. Обломки весили больше, чем мог поднять человек. Даже два человека. Даже три.

Скар молчал. Смотрел на снег, на свои берцы, на чёрную маслянистую грязь, налипшую на подошвы.

— Ты идёшь с нами? — спросил он.

Велес покачал головой.

— Не могу. У меня своё дело в Зоне. — Он посмотрел на

север, туда, где за горизонтом пульсировало невидимое глазу свечение. То самое, которое Скар видел из окна поезда. Фиолетовое. Слабое. Живое. — Но я помогу вам советом. Не ходите через пустошь напрямую. Там «карусель» активировалась. Сильнее, чем в прошлый раз. Она покажет вам то, чего вы боитесь больше всего. И не отпустит, пока вы не перестанете бояться. Или пока не умрёте.

— Как пройти? — спросила Чайка.

Велес усмехнулся — криво, безрадостно.

— Никак. Вы либо пройдёте, либо нет. «Карусель» нельзя обмануть. Ей можно только противостоять. — Он посмотрел на Скара. — Ты сможешь. Ты уже прошёл через неё — и остался собой. Значит, у тебя есть то, чего нет у других. — А она... — он кивнул на Чайку, — она сможет, если будет держаться за тебя. Если будет верить.

Он достал из кармана плаща маленький кожаный мешочек, затянутый сыромятной верёвкой. Протянул Чайке.

— Держи. Земля из могилы старого сталкера. Он был сильнее Зоны. Носи на шее — поможет. Или не поможет. Но попробовать стоит.

Чайка взяла мешочек. Завязала на верёвочку, повесила на шею, поверх разгрузки. Мешочек был тёплым — от тела Велеса, или от земли внутри, или просто от того, что в Зоне всё всегда теплее, чем кажется.

— Спасибо, — сказала она.

— Не благодари, — ответил Велес. — Я не уверен, что оно поможет. Но надежда — тоже оружие. Иногда лучшее. — Он повернулся к Скару. — Береги её, Скар. Девка с характером — редкость в Зоне. Такие не выживают. Но она выживает. Значит, Зона в ней что-то видит.

— Что? — спросил Скар.

— Может, будущее, — ответил Велес. — А может, просто упрямство.

Он накинул капюшон, повернулся и пошёл к выходу с Кордона, опираясь на посох. Снег быстро скрыл его фигуру — только чёрный плащ мелькнул между деревьями и исчез, растворился в серой предрассветной дымке, как будто его и не было. Ворон каркнул над головой — тот самый, или другой, не важно.

Скар и Чайка остались стоять у вагончика.

— Ты ему веришь? — спросила Чайка.

— Не знаю, — ответил Скар. — В Зоне никому нельзя верить. Ни сталкерам, ни торговцам, ни старикам с посохами. Но Колян... Колян не стал бы писать это письмо, если бы не считал информацию важной. Колян был не дурак. Он знал Зону лучше многих.

— Значит, идём через метро-2?

— Идём.

Они пошли к выходу с Кордона. Снег падал — крупный, влажный, неторопливый, такой же, как на перроне, как в Москве, как везде, где есть зима и небо. Сзади, из вагончика Сидоровича, донёсся кашель — сухой, надрывный, по-старчески, с хрипом и присвистом. Скар обернулся — старый торгаш стоял у окна, смотрел на них. Очки его блестели — в них отражался огонь печки-буржуйки, два маленьких оранжевых глаза. Он не махнул на прощание. Не кивнул. Просто стоял и смотрел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.